

Николай Ольков

---

*Современные  
рассказы*

---

Собрание сочинений. Том 17



Николай Ольков

**Современные рассказы.  
Собрание сочинений. Том 17**

«Издательские решения»

**Ольков Н.**

Современные рассказы. Собрание сочинений. Том 17 /  
Н. Ольков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-904970-4

Эти рассказы о времени и о людях. Они разные по тематике, но едины в уважении к труду, неудовлетворенностью своим бытием. Пусть они расскажут вам о себе сами.

ISBN 978-5-44-904970-4

© Ольков Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Про Максима, инвалида и говоруна	6
Мои грибы	14
Фото с выставки	17
Как помирал Яков Васильич	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# **Современные рассказы Собрание сочинений. Том 17**

**Николай Ольков**

© Николай Ольков, 2018

ISBN 978-5-4490-4970-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Про Максима, инвалида и говоруна

Зенитчики еще не успели как следует окопаться, только развернули орудия и перенесли с полуторки ящики со снарядами. Максим рыл окопчик, безнадежно ковыряя лопаткой мерзлую землю. Друг Агафон со стороны с усмешкой смотрел за возней своего товарища:

– Макся, тебе так до дня победы не вырыть. Ты не долби, ты режь, оно лучше выходит.

– Не режется, тут вроде солонец, лопата вязнет.

Агафон взял у него инструмент, сделал несколько движений, согласился:

– Да, земляца попала тебе... Сам выбирал.

– Одно только думаю: хорошо, что не могилу копать, все-таки окопчик помельче.

– Не каркай! Переходи на мое место, я дивно вырыл, и грунт у меня податливей.

Максим вылез из неглубокой лунки, достал портсигар, полученный в подарок из посылки работниц тюменской овчинной фабрики. На алюминиевой крышке подержанной уже вещи красовалась точками выбитая надпись «На память от Косты». Мужики решили, что портсигар сдал в посылку или демобилизованный по ранению, или солдат той мировой, потому что на обратной стороне коряво нацарапано «Германский фронт». Закурили.

Только чуть зарилось. Ночь не отступала, и сизый сумрак неуютно обволакивал душу. Максим всякое время суток сравнивал со своим, сибирским, и не находил ничего похожего. Вот и этот рассвет был незнакомым и чужим.

– Рождество сегодня, – горько сказал Максим, вспомнив, как дома встречали это утро. – Пока не закрыли церкву, всей семьей ходили на службу. И отец, Павел Михайлович, и мама, и нянька Анна, и Никита, его убили ланись.

– Когда убили?

– В прошлом году, осенесь.

– Так и говори, а то – ланись. И осенью, а не осенесь, нерусь!

– Пошто нерусь, русский я.

– А почему говоришь так?

– У нас все так говорят. Я тоже не шибко грамотный. В младшую группу ходил зиму, учился, потом надо было в среднюю, а отец сказал: «Макся, ты не ходи в школу, в средней группе ребятишек будут кастрировать». Я и не пошел.

Агафон тихонько смеялся:

– Ты, Макся, за яйца свои пострадал. Мужик толковый, будь граматёшка – отирался бы где при штабе, не копал бы Россию.

– Не-е, мне в штабе не усидеть, я бы брякнул что-нибудь про начальство, и поехал в штрафбат, как наш командир.

– Жалко мужика.

Новый командир батареи капитан Степура крикнул издалека:

– Не сидеть, окапываться!

Максим привычно загасил окурочок, втоптал носком сапога в мерзлую землю. Агафон тоже встал:

– Переходи в мой окоп, вон, у второго орудия.

Максим нехотя пошел, волоча винтовку и лопату.

Скоро должно было вставать солнце. Он сел в почти готовый окопчик и грустно смотрел на восток. Место появления светила обозначилось обширным сиянием, но цвета были не те, к которым он привык. Восход всегда притягивал его: и на весенней пашне, когда суровый отец поднимал чуть свет; и на раздольных лугах родных афонских сенокосов, потому что утренняя кошенина самая наилучшая для сена; и на жатве, пока не обдуло ночную прохладу, надо наострить серпы и поправить вчерашние спешные суслоны урожайных и крепких снопов.

Таинственная сила самого жизнеутверждающего явления завораживала его, первое появление солнца было сигналом к новому дню.

Несколько крупных точек на мгновение опередили солнечный луч, и Максим узнал самолеты. Гул появился чуть позже. Это бомбардировщики. Должны быть наши, но по очертаниям и особенностям звуков он понял, что противника. Похоже, отбомбились, домой идут. Высота приличная, и курс чуть в стороне от батареи. Над ними, как воробьи над коршуном, зависли истребители сопровождения.

– Воздух! – заорал капитан Степура, и бойцы переглянулись.

– Товарищ капитан, это не наш воздух, эропланы разве что над четвертой батареей пройдут, – спокойно уточнил старшина Моспанов.

– Отставить разговоры! Орудия к бою!

– Какой бой, нам их сроду не достать!

– Пушай себе летят...

– Товарищ капитан, не надо их дразнить. Давайте пропустим, все равно не собьем, только себя обнаружим, – бубнил старшина.

– Это что за собрание!? Что значит – пропустим!? Я для того сюда поставлен, чтобы уничтожить самолеты противника! Орудия – к бою!

Максим подбежал к ящикам со снарядами.

– Каким стрелять будем?

– А хрен его знает! – ответил командир орудия сержант Мяличев. – Их никаким не достать.

Капитан Степура отдавал команды зычным голосом, то и дело поднося к глазам бинокль. После команды «огонь!» зенитки вразнобой закашляли, выплевывая горячие гильзы. Максим видел разрывы, которые не могли даже напугать летчиков. Сидевший на рации рядовой Пащенко вдруг встал и крикнул:

– Товарищ капитан, вас первый к аппарату!

Капитан побледнел, услышав отборный мат полковника, Максим присел на ящик после его команды прекратить огонь. Но было уже поздно. Два самолета выпали из строя и стали скатываться прямо на голову Максиму.

– Вот теперича действительно воздух, – хохотнул он и полез в окопчик Агафона.

Самолеты выбросили пять мелких бомб, непонятно, почему не использованных на основном задании, и стали набирать высоту. Зенитки молчали. Капитан стоял, втянув голову в плечи. Старшина Моспанов свалил его в свой окоп. Бомбы разорвались дружно, осыпав землей и осколками все вокруг. Одна разнесла Агафона, попав прямо в обменянное с Максимом место. Еще одна повредила орудие. Осколок навывлет пробил живот капитану. Сержант Мяличев чуть дернулся на станине орудия и затих. Тишина наступила страшная. Максим вскочил и, кинувшись в сторону Агафона, упал, пробежав несколько метров. Воронку на месте своего окопа он успел увидеть, но сильная боль в ногах уронила на землю.

– У тебя же ступня пробита, едрена мать, – радист Пащенко присел на корточки и тупо смотрел на рваное отверстие в сапоге, из которого сочилась грязная кровь.

– Сымай сапог, нехрен сидеть сиднем.

Пащенко немного повозился и возразил:

– Не снять, резать придется.

– Сапог губить не позволю, сымай.

– Не позволит он! Тут дыра насквозь.

Максим с детства боялся собственной крови, и теперь, едва глянув, сомлел и повалился на бок. Пащенко разрезал голенище и, отбросив сапог, начал неумело делать перевязку.

– Капитана сразу осколком навьлет, так в страхе и помер. Ему полковник вломил, что он обнаружил батарею. Нас, говорит, для важного дела разместили. И Ендырева в клочья разорвало, с которым ты окопом сменялся. Толковый у тебя обмен получился.

Максиму было неловко, будто он виноват в гибели товарища. Пащенко приспособил к забинтованной ноге разрезанный сапог.

Артиллерийский обстрел начался внезапно, видно, сообщили летчики расположение батареи. Пащенко вместе с шофером полуторки, которая привезла снаряды, оттащили Максима к машине и затолкали в кузов. Он лежал на спине, подсунув под голову кусок брезента. Рана ныла, он с трудом поднял ногу, холодная кровь скатилась по штанине под задницу и под спину, боль чуть утихла.

Солнце уже встало и светило ему прямо в глаза. Такое яркое солнце! Он знал, что надо просыпаться, но какой-то мерзавчик внушал ему: «Поспи еще, мать разбудит». И действительно, мама встала на лестницу, черенком легоньких деревянных грабельцев нащупала в чердачной темноте его тщедушное тельце и легонько побеспокоила: «Вставай!». Максим очнулся, мамы не было, было раннее рождественское утро в украинской морозной степи, нехорошая тишина, нарушаемая стонами мужиков, кузов полуторки и терзающая боль в ноге. Кровь опять стекла по штанине, неприятно похолодив спину. Максим покричал, но никто не ответил. Он больше всего боялся страха, но ощущал только тоску. Если не найдут, то изойдет кровью и замерзнет. Найти могут только случайно, потому что сейчас не до разбитой батареи. Страшно не было, но хотелось плакать.

Его нашли действительно случайно в вечерних сумерках. Двое бойцов пытались завести полуторку, но не смогли, раненого Максима не сразу отодрали от деревянного кузова: набрякшая кровью шинель пристыла к доскам. Его вели и тащили долго, один боец предлагал бросить, но второй не согласился, так и доволокли до расположения.

Как попал в госпиталь, Максим не знал, очнулся от боли в раненой ноге, попросил пить. Солдат из старших возрастов в застиранном сером халате сказал, что после операции вода не полагается, и вытер его губы мокрым грязным полотенцем.

– У меня нога болит шибко, – сказал Максим. – Ранило меня.

Санитар засмеялся:

– Не может у тебя нога болеть, потому как ее нету.

Максим не сразу понял.

– Почему нету?

– Отрезали. Гангрена у тебя началась. Отпластнули по самое колено.

– Врешь! – Максим хотел было вскочить, но голову обнесло, и он опять плавал по деревенским старицам, ставил фитили и морды, вытрясал в лодку лобастых налимов, длинных щуругаек и плоских карасей. Все тот же мерзавчик подсказывал ему, что не надо бы смотреть во сне рыбу, это к болезни, но рыба просто перла в его снасти, и Максим ничего не мог с этим поделаться.

Через день врач сказал, что отправляет его в тыловой госпиталь, потому что не уверен, покончено ли с заражением:

– До санпоезда доедешь, а там помереть не дадут, у тебя еще полметра в запасе.

– Каких полметра? – не понял Максим.

– Ноги до туловища! Простых вещей понять не могут!

Его сняли в Саратове и в госпитале резали еще два раза, пытаясь сохранить хоть сколько конечности и опасаясь общего заражения. Учился ходить на костылях, падал, разбивал культу, плакал по ночам, тяжело задумался о жизни после случая с соседом по койке, веселым парнем с Волги, которому отрезали обе ноги под самый корень. Он шутил, что на обувь теперь тратиться не надо, что на танцы время терять не будет. Утром попросил ребят посадить

его на подоконник. Максим тоже помогал. Парень сидел недолго и молча опрокинулся наружу с третьего этажа.

Максима никто в деревне не ждал, кроме матери. В свои тридцать пять он несколько раз женился, но все как-то не получалось. Отец поначалу ругался, потом попустился, Максим погуливал, пока не забрали на фронт. Теперь отгулял. Для деревенской работы не годен, другой не знает, и грамоты нет.

Деревня встретила его нерадостными новостями, схоронили от скоротечной болезни отца, Павла Михайловича, и старшую сестру Анну, няньку, как звал ее Максим. Брат Матвей в первый вечер не пришел, сказался больным, мама наскоро собрала стол, пришли демобилизованные раньше калеки Антон, Киприян, Федор Петрович. Выпили бражки.

– Мама, а про отца-то чё не писали. И про няньку.

– А кто писатели-то, Макся, я немтая, а Матвей все по больницам.

– Так и сытсы?

– Да вроде проходит.

– Знамо, пузырь – он понюхачей самого Гитлера капут чувствует.

– Макся, при людях-то!

– А то люди не знают, что братец еще до первой немецкой артподготовки в штаны прудить начал. Эх, мать, а чё бы мы делали, если б всем миром под себя мочиться стали, вплоть до товарища Сталина?

Вечером натопили баню, Максим неумело подставил под культу деревяшку, и, не привязывая ремней, поковылял мыться. С непривычки сильным жаром охватило голову, пришлось спуститься на пол и приоткрыть дверь. Подложив под голову веник, он прилег на порожек, лоя свежий воздух через приоткрытую дверь. Кто-то закрыл собою узенький вход в предбанник, Максим поднял глаза: Матвей.

– Здорово, брат. С возвращеньцем.

– Здорово. Проходи, парься.

После бани Максим по праву старшего сидел на лавке в кутнем углу, это место отца. Лишний кусок штанины белых домашних кальсон он подогнул и привязал нянькиным пояском. Пустой стол, вот тут сидел Никита, тут нянька, тут отец.

– Жениться тебе придется, Макся, – сказал Матвей. – Я отделился, матере одной тяжело.

– Ага, прямо седни и начну, вот ветер стихнет.

– Ты смехучками-то не отделявайся, бабья полдеревни слободного, мужиков перебили.

– Мне жениться нельзя, я еще до войны не три ли раза под венец ходил, да только на месяц и хватало. Терпеть ненавижу, как бабы начинают руководить. А теперь и вовсе, на чужой крови живу.

– Пошто? – испугался Матвей.

– Своя вся истекла, мне немецкую лили, сам на каждом флаконе видел: фамилия Донор написана. Так что не до женитьбы, хоть бы до лета дотянуть.

– Ох, и болтун ты, Макся, каким был, таким и остался, – вздохнула мать.

Исполнительницей от сельсовета прибежала невысокая молоденькая женщина, вошла в избу, поздоровалась, насухо вытерла влажные от осенней слякоти калоши на валенках.

– Ты Максим Онисимов будешь? Распишись вот в извещении, что завтра явиться в район на комиссию.

Максим расписался коряво.

– А на чем являться?

– Подвода пойдет, вас тут с десяток изувеченных.

– На вожжах не ты ли сидеть будешь?

– Нет, – хохотнула женщина. – Иван Кириков, он хоть и безрукий, но с такой командой управится.

– Чья она, мама? Вроде как не афонская?

– С Горы приехала, замуж туда выходила, да мужика убили, вернулась с двумя ребятишками.

– А пошто к нам, родня тут какая?

– Седьмая вода на киселе. Бьется бабенка, отец родной где-то в Поречье погуливает, всю войну просидел в каталашке, теперь вроде завхозом в больнице, так сказывают. А ты не глаз ли положил?

Максим стушевался:

– Да так, хорошая бабенка, веселая.

Мать в кути забрякала ухватами:

– Ты с ума не сойди, у ей двое, ты будешь третий, тоже дите, только что под себя не ходишь. Вот веселуха-то будет!

– Ладно, собери мне что в дорогу.

Рано утром у колхозного правления собрались все инвалиды, которым следовало явиться в районную больницу. Курили, подсмеивали друг над другом.

– Григорья с Эмилем в передок посадим, у их обеих ног нету, Максю с Васькой Макаровым по бокам, посередке Ванька Киричонок. – Ему непременно надо посередке, потому как вздремнет со хмеля и под фургончик свалится, тогда и ноги может лишиться дополнительно.

– Ты меня не трожь! – витийствовал Кириков, маленький шустрый мужичек без левой руки, но ловко запрягавший пару лошадей. – А то ведь я могу и поперед из района рвануть, вот тут поползете до дому, как фриц из Сталинградского капкана.

Ванька руки лишился под Сталинградом, в деревне уже обжился, после признания Сталинградской битвы поворотным сражением во всей войне он особенно оживился, будто сам лично замыкал кольцо и брал фельдмаршалов в плен. Бывший хороший тракторист, отлученный от любимой «колесянки», он долго привыкал к лошадям, смирился, но стал попивать. В деревне, где выпивали только по случаю, мужик навеселе среди недели скоро стал посмешищем, за ним, тридцатилетним, крепко привязалось обращение и старого и малого: Ванька Кирик, Киричонок. Деревня, у неё свои законы.

Комиссия в районной больнице с участием офицера военкомата, щеголя—капитана, проходила быстро. Максим только кивал в ответ на самые простые вопросы, но когда пожилая женщина из собеса спросила, где он работает, Максим растерялся:

– Был в колхозе, пока нет работы. Да я и на ногах-то плохо стою.

– На ноге, – уточнил хирург, – вторая нога у вас почти в порядке.

– На ней отсутствует икрная мышца, – приподняла очки терапевт.

– Ну, не совсем, – возразил хирург. И Максиму: – Ну-ка, пройдитеесь.

Максим тяжело встал с табуретки, установил на крашеном полу деревяшку и сделал несколько шагов без костыля. Пересилив боль, он улыбнулся:

– Вот, помаленьку хожу.

– Можно дать третью группу, – повернувшись в их сторону, произнес офицер военкомата, до этого лепетавший с медсестрой регистрации.

– Он нетрудоспособен, Роман Дмитриевич, я за вторуюю.

– Нетрудоспособен, а, по моим сведениям, жениться собрался.

Максим хохотнул:

– Так оно, товарищ капитан, что для женитьбы необходимо, немец мне милостиво оставил, спасибо ему.

– Награды есть? – спросил капитан.

– Медалёшки, – равнодушно ответил Максим.

– Надо было воевать лучше, были бы ордена, – посоветовал капитан.

– Вот ты точно роты водил в рукопашную атаку! – резко выпалил Максим. – А я на складе винной бочкой себе ногу отдал! Да ежели бы я херово воевал, ты бы сейчас в хромовые сапожки не заглядывал, как в зеркальце, а у бюргера свиней пас!

– Товарищ инвалид! Ведите себя! – капитан вскочил.

Максим продолжал сидеть, его била дрожь, пот залил глаза:

– Я пока еще только калека, инвалидом вы меня признавать не хотите, потому что за это копейку платить надо.

Он встал и, тяжело припадая на деревяшку, вышел из кабинета, оставив на крашеном полу струйку яркой крови из лопнувшего шва на культе.

После обеда процедура закончилась, всем дали третью группу инвалидности, вторую только тем, у кого не было обеих ног. Но самое непонятное было в строгом наказе главного врача в апреле всем прибыть на перекомиссию.

– Правда, мужики, чо до апреля изменится?

– Какой ты бестолковый, Киричонок, и отец твой такой же был. – Максим уже успокоился и не мог упустить возможности подначить. – В апреле весна, все живое в рост прет, ты же знаешь, что ни корову, ни бабу в это время не удержишь, щепка на щепу... Вот и возникли у советской власти опасения, что рука у тебя вырастет, а ты, сволочь подкулачная, сокроешь сей факт от любимого государства, и будешь продолжать огребать ежемесячно свои полторы сотни.

Василий Фёдорович, родственник и грамотный человек, шепнул Максиму:

– Ты придержи язык, а то не посмотрят, что инвалид, подметут.

– Зачем я им? Кормить задаром.

Василий засмеялся:

– Ага, пельмени для тебя все комсоставом будут лепить. Да подведут к ближайшей стенке и шлепнут, а потом протоколом тройки оформят. Эх ты, фронтовичек!

В субботу, напарившись в бане, Максим помыл и выскоблил ножом деревяшку, надел чистую рубаху и сказал матери:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

А сам мимо Иванова дома подался в другую сторону, где жила Мария Горлова с ребятишками. Осторожно с мужиками поговорил, не хаживает ли к ней кто – сказали, что нет, не хаживает. Подошел к избенке, выдернул верхнюю жердинку в воротцах, через нижнюю с трудом переволол деревяшку, лампа в простенке горит, но дверь уже заперта. Неловко погрел щеколдой, из избы кто-то вышел.

– Хозяйка, открывай, а то ветер сёдни холодный.

– Не открою, не признаю я.

– Максим Онисимов, извещение ты мне приносила.

– Ну, дак я тебе его отдала. Какой спрос?

– Беда с бабой! К тебе я пришел, пусти хоть на минуту, культышку перевяжу, а то не дойти до дома.

Крючок сбрыкал, отпустив дверь. Максим следом за хозяйкой вошел в избу. Чистенько прибрано, хоть и бедно. Русская печка в треть избы, стол, три табуретки, койка. С полатей свесились две стриженные головы, Володька и Генка, он уже знал их имена. В избушке этой раньше жили Заварухины, Максим тут бывал. Мария прошла в кутный угол, села на залавочек.

– Бери табуретку, переобувайся.

Максим снял деревяшку, перемотнул портянку, крови не было. Отложил протез в сторону.

– Посижу маленько. Ты пореченская родом?

– Там родилась, потом здесь в няньках жила, на семнадцатом году вышла за парня из Маслянской МТС, он тут хлеб молотил. Вот родили двоих, его забрали и под Сталинградом убили, деваться некуда, подалась к своим, хоть и не большая родня, но не бросили. Живу вот.

– В колхозе робишь?

– В колхозе.

– Тяжело одной-то?

Она вздохнула:

– Всем тяжело теперь. Тебе вот тоже не сладко.

– Да я привыкну, мозоли набью, и тогда хоть бегом.

Оба молчали, ребятишки на полатах тихонько посапывали.

– Мария, давай сойдемся с тобой. Я работать начну, пенсию вот назначили, полегче будет.

– Нет, на двоих детей никто ко мне не пойдет, и ты тоже так, баловство одно. Не стоит на разговоры.

Максим приобиделся:

– Отчего это вдруг баловство? Мне тридцать пять, куда еще? Хватит, набаловался.

– Сгоряча это ты, Максим, посмотри, сколько девок осталось без женихов, а вдов молодых, бездетных! Своих народишь, зачем тебе чужие, ну, ты сам подумай!

– А мы с тобой разве не родим? – осмелел Максим. – Выправится жизнь, и дети вырастут. Другое дело, если брезгуешь, не подхожу тебе, так и скажи.

– Господи! – Мария заплакала. – Я пять лет уж мужского разговора душевного не слышала. Не тревожь ты меня, Богом прошу. Иди домой, дай мне срок подумать.

Максим озаботился:

– Ты, если обо мне справки наводить, то не теряй время, я тебе сам во всем признаюсь. Зло не употребляю, табак курю, приматериваюсь, вредным бываю. Хуже уже никто не скажет.

– Иди до завтра, я хоть ребятишкам все обскажу, большие ведь. У тебя нигде нет нагулянных?

– Да не было до войны, и сейчас вроде похожих не встречал. – Он пристегнул деревяшку, надернул фуфайку, тяжело встал.

– Иди, я посвечу в сенках, там одна плаха скачет.

– Переберу пол, это я в первый же день.

У самых воротец Мария спросила:

– Максим, а ведь ты на меня сразу посмотрел, когда и с исполнительным к вам прибежала, правда?

– Как есть, правда. Я и матери сказал.

– Ладно, мне утре вставать рано, иди тихонько.

Мать не одобряла решение Максима перейти к Марии, да и Матвей пытался вмешаться, в основном напирая на ребятишек. Большие уже, семь и девять, с такими и здоровый мужик горя хватит. Максим отмалчивался, собрал в армейский вещмешок кальсоны, рубахи, гимнастерку. Поздним ноябрьским вечером ушел в избушку Марии.

Когда ребятишки на полатах успокоились, она ушла за занавеску в кутный угол:

– Ложись, я потом лампу погашу.

Ночь высвечивала худую фигуру незнакомого мужчины. Она присела перед койкой.

– Ты культи моей бояться не будешь?

– Привыкну. Мне к стенке или с краю?

– Ложись к стене.

Он неловко, неумело обнял ее открытые плечи. Кто-то из ребятишек заворочался и забормотал на полатах. Они испуганно притихли, Мария тихонько шептала ему в ухо:

– Пускай они улягутся, а ты обними меня крепко, чтоб дух захватило.

В ноябре ночи длинные, да ребятишкам вставать в школу. Поочередно спрыгнув с полатей и сбегав на улицу, они наскоро умылись под рукомойником. Максим лежал на койке, Мария уже сварила пластянку, жиденький суп с картошкой, нарезанной пластиками, положила с обеих сторон стола по куску хлеба.

Генка первым подошел к Максиму:

– Мне тебя тятей звать или папкой?

Максим стушевался:

– Мать, как лучше?

– Ты отец, ты и решай, – строго ответила Мария.

– Зови папкой. Я своего тятей звал, тоже ничего.

– И я буду папкой тоже, – добавил Володя.

– Ешьте и в школу, – скомандовала мать.

Проводив детей, она села на койку и обняла Максима.

– Я седни с работы отпросилась, если не передумал, ходим в сельсовет.

– Мне и передумать-то некогда было. Успеем еще, день большой, ложись ко мне.

В тот же день в сельском совете их записали мужем и женой. Деревня дня два обсуждала новость, пока не случилась какая-то другая.

*2009 год*

## Мои грибы

Хожу по утреннему сонному лесу. Грустно хрустит валежник под робкой ногой. Еще год назад живые ветки потрепанных временем берез пали, чтобы стать прахом. Ветра нет, он есть небольшой там, на опушке, а в глубине березового колка не шелохнет. Комарам простор. Они висят в воздухе, наполняя пространство удивительно тонким пронзительным звуком. Он поневоле настораживает. Современные мази почти не спасают, и острые комариные покальвания беспокоят то там, то тут. В самых неожиданных местах. Солнечный свет почти не доходит до земли, глаза привыкают к нежному сумраку. Я ищу грибы.

Из всех деревенских промыслов этот единственный, на который всегда езжу охотно. Машину оставляю в первых березках, в стороне от дороги, запираю на ключ, который прячу под травяной коврик у колеса – чтобы не потерять. Объемная корзина досталась мне по наследству, сейчас это, пожалуй, единственная материальная память от родителей. Бросаю в нее нож и осторожно вступаю в лес. Вкусно пахнет грибами. Их еще не видишь, но знакомый с детства дух возбуждает азарт. Дух и запах, наверное, не одно и то же. У нас в деревне говорили: а дух-от какой! Это когда очень радостное что-то, приятное. Еще – духмяный. А запах – более общее, он может быть и грубым, не чистым.

Глаза быстро приспособляются к новым цветам и объемам, замечают едва заметные бугорки, гриб приподнимает слой перепревших листьев, и они становятся его шляпкой. Так растут все грибы, потому под первыми шляпками обнаруживаю поганки – так у нас звали грибы, имен которых не знали и которые никогда не собирали. Вообще в наших местах брали только грузди, которые называли настоящие, и сухие грибы, суханы.

Отец выполнял в колхозе какие-то обязанности, и ему положена была лошадка с ходком. Ходок – облегченная телега, без платформы, вместо нее собранный из жердей каркас. Еще были кошевки, плетеный из тонких прутьев кузов ставился на легкий ходок, но то для начальства, как сейчас джипы. Когда собирались по грибы, мама застилала ходок брезентом и старыми половиками. Выезжали рано, отец уже хорошо знал, куда ехать, он вообще знал ягодные и грибные, груздяные места. Добравшись, распрягал лошадь, спутывал ее и отпускал, привязав вожжами к телеге. Сам отходил чуть в сторону, скидывал деревяшку, самодельный протез, который заменял ему потерянную на войне ногу, и начинал искать. Меня отправлял в дальний угол леска и наказывал, чтобы резал только маленькие грузди, чтобы не больше свиной бирьки. Но я видел лишь шляпы, настырно выставившие себя напоказ, они не все были червивые, я складывал их в корзину, а отец у телеги безжалостно выбрасывал, беззлобно матерясь. К вечеру большая часть ходка была завалена грибами, мама укрывала ценный груз, освобождая в передке место для нас. Отец брал вожжи и тихонько выезжал на дорогу.

У него был зоркий глаз. Он с телеги замечал одиноко стоящие обабки, так у нас зовут подберезовики (Даль с этим согласен), и командовал, чтобы я срезал. Отец запрещал рвать грибы, только срезать под корень, чтобы не испортить гнездо, хотя в обиходе было ломать грибы. До сих пор я не уверен, как правильно надо вести себя с грибным гнездом, чтобы не испортить. Где-то читал, что именно сламывать нужно, но всегда режу, как научили.

Обабки да еще опята, опенки – вот и все, что мы знали и без сомнений ели. Обабки годились только на скорую еду, их не готовили впрок, вообще тогда в деревне не знали другого способа заготовки, кроме соления да еще сушки. Их сразу по приезде чистили, мыли, мелко крошили и тушили в сметане или растительном, постном, масле. Когда мама ставила на стол большую глубокую сковороду, отец выразительно на нее взглядывал, и она с пониманием приносила нам литровую банку бражки. Бражка у нее всегда была выстоявшаяся, чистая, приправленная пережженным сахаром, оттого густого темно-коричневого оттенка и с аппетитным

запахом. Больше половины сковороды съедалось сразу, а поздно ночью, вернувшись с гуляний, я с удовольствием ложкой черпал прохладную, тягучую массу.

Опять в конце августа отец нарезал на вырубках со старых пней помногу, их крошили и сушили под сараем на тех же половиках и брезенте, потом укладывали в старые подушечные наволочки и подвешивали на печке или на полатях. Зимой часто варили опенницу с крупой, ложка сметаны или даже молока делали этот ароматный суп очень вкусным.

Грибы в деревенском рационе занимали важное место. Конечно, наши не знали о том, что гриб по каким-то качествам заменяет мясо, я и сейчас в это не особенно верю, да еще недавно местный знаток Володя Кислов скептически заметил: если бы заменяли, волк не искал бы барашка! Но грибной суп варили, с картошкой тушили, пироги стряпали. Вкус пирожков с крупой и груздями мстительная память хранит и издевается: не доводилось более вкушать таких. А может, что-то с ощущениями?

Сразу по приезде из леса грузди и сухие грибы раскладывали в бочки, тазы и ванны, заливали холодной водой, через день воду меняли, предварительно прополоскав каждый гриб. Бахрому у нас не чистили, потому, случалось, груздочек не только смачно похрумкивал, но и поскрипывал попавшими на зуб песчинками. Немцы Поволжья, переселенные к нам во время войны, грибную бахрому убирали сразу, это я видел в большой семье Якова Кауца, жившей у самого озера Афонькино и готовившей грибы к засолке прямо на берегу. К этому наши бабы относились с недоумением, как и к тому, что немцы среди лета щипали пух с живых гусей.

Грузди и суханы растут деревнями, вокруг одного ищи его собратьев, которые прячутся недалеко от основного гнезда. В наиболее удачные годы в прострельных березовых лесах они могут жить сплошняком, и тогда такой азарт охватывает охотника, что не успеваешь обрезать, взгляд так и шарит вокруг, отыскивая следующий груздок, и ты перебегаешь с места на место, счастливый и возбужденный.

Наиболее удачные случаи помнятся всю жизнь. В бердюжских лесах, недалеко от Истошино, открыл лесную гриву с белыми грибами. Каждый год ездил за ними, потому что белый гриб – это как солидная щука на рыбалке или для охотника сбитый гоголь на перелете. Потом лесничество перепахало урочище и засадило сосной. Грибов не стало. Только один белый нашел за озером Моховым, один, но очень большой, у меня сохранилась фотография, где спичечный коробок рядом с ним кажется почтовой маркой. Из того гриба получилась литровая банка деликатеса.

Сухие грибы я как-то несколько дней кряду почти выкапывал из борозды, нечаянно прочерченной плугом в подлеске за Пеганово, они были черны от земли, но ровные и крепкие.

Однажды соседка бабка Таня попросила отвезти их с дедом на сенокос, прошли дожди, и надо было переворачивать сено в валках. Ранним утром мы приехали на покос, который нешироким языком врезался в березовый лес. Дед деловито прибирал вилы, сумки и топорик, а бабулька черенком легоньких грабельцев начала было переворачивать ближний к лесу валок едва подсохшей травы, но закричала, чтобы я бежал к ней. На освобожденной от сена еще влажной земле, среди щетины стерни красовались маленькие ровные груздочки. Их было много, рука радовалась от прикосновения к прохладной скользкой поверхности молоденьких груздей, я опрокидывал несильную травяную массу на прокос, обнажая беленькое неожиданное чудо. Такого больше мне не приходилось видеть, это подарок природы, редкий, и оттого сладостный.

Не грибы в радость, а встреча с ними.

С апрельским теплом у нас дома открывали погреб и доставали картошку, квашеную капусту, соленые огурцы и грузди – все, что было положено до весны. Определяли, что можно продать в городе на базаре. Кадку с груздями добывали из погреба всем околотком. Мужики

обвязывали ее веревками, мама протирали от сырости тряпицей, под «Ну, ишо раз!» центнеровая кадушка выплывала в пространство сарая. Отец ездил в город сам.

Середина прошлого века не была сытной и беззаботной для ребятни, каждый вечер на ужин варили чугуны картошки, чаще всего в мундирах, картошку вываливали на стол, тут же стояло блюдо с квашеной капустой, солеными огурцами и груздями. Груздочки, помнится, были лакомой закуской в молодые годы, так и говорили: груздок под рюмочку. В этом была своего рода эстетика. Теперь так уж не выпивают...

В Литературном институте, в Москве, познакомился с молодой поэтессой, дочерью известного дипломата. Конечно, не только грибами памятливы те годы, но вспомнил кстати, что по ее просьбе приволок из Казанки на сессию банку соленых грибов, для отца. Он, бедный, так тосковал по деревенской природе, сам владимирский родом, что на госдаче посадил с десяток привезенных с родины грибниц, но они, видно, не особенно разрослись.

Давно заметил, что люблю быть в лесу один. Встретив первый гриб, режу не сразу, осторожно очищу от листвы и травы, полюбуюсь, поговорю с ним: да миленький ты мой! моя ты красота! Незаметно уходишь в природу, время исчезает, воздух вытесняет из души всю суетную дурь, и в голове абсолютная свобода. Ощувив это хоть раз, поймешь Василия Макаровича Шукшина в его встрече с березками в «Калине красной»: красавицы, невестушки, заждались!

Солнце поднимается высоко, воздух нагревается, обостряются запахи. В корзине не очень много грибов. Голова приятно шумит, ноги устали. Да, а когда-то по всему дню шастали по лесам. Свидание с лесом подходит к концу, надо возвращаться в мир людей, жесткий и беспощадный. Морозным зимним днем соленые груздочки напомнят об этих минутах. Положу их в алюминиевое блюдо, прямо на стол вывалю вареную картошку. Погрущу, а может и поплачу.

Что гриб, вроде пустяк, а вот на размышления наводит.

*2006 год*

## Фото с выставки

Накануне шестидесятилетнего юбилея известного в области фотожурналиста Ивана Ивановича Шестакова, департамент культуры, где он был своим человеком, предложил организовать выставку его работ, причем, молодая дама, искусствовед картинной галереи, которой, видимо, было это дело поручено, начала с того, что попросила мастера вернуться в молодость, найти старые снимки, и показать сегодняшней избалованной публике жизнь черно-белую, давно минувшую.

– Поверьте, – ворковала она, – покосившийся забор, избышка на отшибе, старушка в платочке – это так мило, народ будет в восторге. У вас же есть архив?

Конечно, архив у Ивана Ивановича, как у всех уважающих себя ремесленников, был, и рулоны пленок со времен работы в районной газете, были уложены, пронумерованы и описаны, хотя весьма приблизительно. Идея этой дамы, не то Инессы, не то Анжелы, сама по себе интересна, Шестаков и сам изредка залазил в кладовку, брал первую попавшуюся коробку и, разматывая рулон пленки, уходил в ту жизнь. Вот это он снимал доярок на летних выпасах у Яровского озера. Молодые, красивые, ядреные девки. А это опять доярки, только из Сладковского района, он вспомнил, что после съемок на ферме одна отвела его в сторону:

– Я на фотокарточках хорошо получаюсь, так что ругать не будешь. А ночевать ко мне пойдешь, я женщина свободная и чистая. К тому же у меня банька подтоплена.

И баньку помнил Шестаков, и женщину эту, мягкую и ласковую.

Прокрутив на примитивном аппарате несколько пленок, Шестаков складывал рулоны и запечатывал прошлое в коробку. Теперь ему предстояло просмотреть все, отобрать самые интересные кадры и распечатать для комплектования экспозиции. Полная свобода в выборе темы или даже тем, предоставленная Инессой или Анжелой, не смущала Шестакова, он сразу сказал себе, что это будут портреты. Вспомнилась худенькая учительница из Тобольска, к которой ездил каждую неделю почти год подряд и всегда снимал. Молодые и счастливые, они играли в съемки, как настоящие модели, несколько пленок Шестаков аккуратно разрезал, сжег все, где он был снят, в чем мама родила, а ее даже никогда не распечатывал, хотя пару раз любовался в кладовке. Можно было бы выбрать исключительный портретик, помнился один кадр, когда она, умиротворенная, села в постели и даже не прикрыла своей наготы. У нее были девичьи остренькие груди, длинные волосы и лицо, освещенное мягким светом торшера, с улыбкой усталости и гордости.

Шестаков оживился: у него же много женских портретов, на одной пленке и снимок на производстве, и вечерние портреты в домашней обстановке. Он даже удивился, сколько случаев вспомнил сразу, а если подумать... Впрочем, не фото-отчет о любовных похождениях должен он подготовить, а выставку, и тут не всякая история пригодится. Он съездил к ребятам в фотосалон и привез китайскую машинку для просмотра пленки с большим экраном да еще набор для ретуши, из которого ему могли потребоваться только тюбики темных тонов. Вечером достал несколько коробок, отобрал два десятка рулонов и включил аппарат. Перед ним в медленном параде стали проплывать люди, которых он уже давно забыл, лица интересные и не очень, некоторые что-то напоминали, но это было так давно, тридцать лет назад.

Тогда по указанию парторгов он снимал токарей и слесарей на заводах, доярок и трактористов в деревне, хотя иногда прорывалась интеллигенция, руководящий слой. Шестаков сильно обрадовался, поймав на пленке с партийной конференции интересный кадр с первым секретарем обкома. Тот в перерыве, видимо, спорил с кем-то, круто повернулся к фотографу, а тот уже нажал кнопку. Полуоткрытый рот со все еще вырывающимся звуком, тяжело сжатый кулак, суровый взгляд из под лохматых бровей – будто на митинге в защиту советской власти, хотя такого митинга не было.

На пленке с конференции по проблемам добычи нефти и газа с удивлением увидел лица отцов—основателей, тогда малоизвестных романтиков, потом генералов и даже министров. Для газеты пригодился лишь один групповой снимок, а тут столько портретов, сделанных в зале заседаний, в кулуарных разговорах и даже в буфете. Шестаков оживился: с каждой пленки он отбирал, по крайней мере, один кадр, заполнялась коробка с нужными пленками.

На третий день, разбирая самые ранние архивы и не ожидая ничего интересного, он едва не пропустил мелькнувшее на экране лицо, даже пропустил и уже смотрел следующие, когда бдительная память заставила остановиться. Что-то до боли знакомое, приятное и раздражающее, увидел он в этом кадре. Осторожно вернул его на место и задохнулся. С того самого дня, когда он вернулся из армии и с ожесточением сжег все ее фотографии, а потом случайно увидел кусок пленки с ее изображением и тоже хотел бросить в печку, но одумался, завернул в бумагу и положил в общую коробку, он не вскрывал этой пленки и не видел это лицо.

Нина Соколова приехала из далекого городка Буя после техникума, бухгалтером в совхоз. Ваня был первым парнем на деревне, окончил среднюю школу, служил совхозным комсоргом. Они встретились в первый же день, Ваня бросил всех своих подруг и весь упал к ногам Нины. Да и было к чему упасть. Высокая, плотная, лицо чистое и улыбочивое, ноги крепкие и длинные, настолько крепкие, что еще чуть – и нет красоты, а так – с ума можно сойти, глядя, как она идет, как стоит, как садится. Ваня долго не мог понять, в чем же тайна, оказалось, коленушко у нее такое аккуратное, что не высовывается, не выпирает, а словно нет его совсем. По этим ножкам все парни вздыхали, но Ваня успел, сходил к директору и выхлопотал для Нины однокомнатную квартирку в двухэтажном доме времен Хрущевских агрогородков. Кровать, матрас с одеялом, два комплекта постельного белья, стол, стулья и даже электроплиту со склада завез. За выходные они с Ниной уборку сделали, все расставили по местам, уютная получилась квартирка...

Шестаков встал из-за стола, открыл холодильник, налил полный стакан водки. Давно не пил, сдерживался, потому что одним стаканом никогда не обходилось, а тут никакого сомнения, единым духом проглотил ледяную жидкость и сел на табурет. Парень он был не из робких, с девчонками сходил быстро и так же скоро отпускал на свободу, оставляя после себя дурную славу подлеца и обманщика. И с Ниной все выходило славненько, ребята откровенно завидовали ему и издевательски хвалили ее коленки: «Иван, она у тебя вся в ноги выросла». А Ваню как подменили, Нина в клубных играх и просто на людях с улыбкой его встречала, ни на шаг не отходила, хотя больше молчала, говорила только при необходимости. Ваню это смущало:

- Ты почему такая? Молчишь и улыбаешься, улыбаешься и молчишь.
- Тебе разве этого мало? Я же тебе улыбаюсь.
- Так можно подумать, что кому-то за спиной.

Она подходила к нему и прижималась всем телом, охватив шею руками так крепко, что грудки сжимались.

- Нина, я тебя люблю, сильно люблю.
- Это и хорошо, – спокойно говорила Нина. – Ведь я тебя тоже люблю.
- Мне же еще в армию идти, на три года.
- Ну и что? Придешь – мне двадцать, тебе двадцать два, самое время свадьбу играть.

Шестаков еще раз посмотрел на снимок, и сладкая теплота разлилась по телу. Это было в то воскресенье, когда она окончательно вселилась в квартирку. Купили бутылку вина и какие-то консервы, огурцы и помидоры Иван принес из дома, был уже конец августа. Пока он резал салат, Нина принялась открывать консервы, нож сорвался и порезал палец. Нина показала, где лежит бинт и картинно подставила палец под перевязку. Выпили за новоселье, и Иван взял фотоаппарат. Нина облокотилась на стол, подперла щеку перевязанным пальцем и с улыбкой смотрела в объектив. На ней была легкая кофточка в мелкую клетку с отложным воротничком, которую она надела после уборки. Иван чуть присел, нажал кнопку и покачнулся. Повторять

съемку Нина отказалась, хотя Ваня предупредил: кадр не получится, всю прическу срежет. Нина улыбнулась:

– Вот я вся с прической, любуйся. А фотографий мы еще тысячу снимем.

С тысячей не получилось, началась уборка, комсорг Ваня только поздно ночью забежал в заветную квартирку, Нина ждала его, они жадно целовались, но, когда добирались до кровати. Нина с улыбкой упиралась руками в его грудь:

– Успокойся. Наслышана я, что ты привык к быстрым победам над девчонками. Не спорь, я не ревную. Просто хочу, чтобы у нас было по-другому.

– По-другому – это как? – смеялся Иван.

– Ты отслужишь, придешь, к тому времени тебя уж парторгом изберут, так что квартиру новую получим, нет, лучше дом построим. И я рожу тебе много ребятишек, имей в виду, наша порода плодovitая.

Когда парню приходила повестка в армию, вся жизнь кувырком. Давали неделю на подготовку, дома собирали стол. Иван уговорил Нину сходить к нему домой, познакомиться с родителями.

– Ваня, как-то неловко. С какой стати явилась?

– Но на проводины все равно придешь.

– Так там и другие девчонки будут.

– Нина, прошу тебя, пойдем, я родителям уже все рассказал про наши планы.

Пришли, отец смущенно поздравствовался, мама приобняла девчонку:

– До этого ни одной не водил, стало быть, серьезно, а, рекрут?

Нина за стол садиться отказалась, поговорили о проводах, на том и простились.

Иван после вспоминал, что Нина стала вести себя с ним аккуратней, объятия и поцелуи стали прерываться в самый неподходящий момент, Нина смущалась, и на его недоумения отвечала робко, что так может далеко зайти.

Вечером на проводинах посидели недолго, молодежь потянулась в клуб, Иван и Нина ушли в квартиру. Он как сейчас помнит: они сели напротив друг друга, Ваня гладил ее колени, приподнимая короткую юбку, она целовала его шею и уши, отчего он повизгивал, как щенок.

– Нина, разбери кровать, я, правда, намотался сегодня.

Она сняла с него рубашку, сдернула с ног туфли.

– Все, ложись.

– А ты?

Она вышла на кухню и вернулась в халатике.

– Я к стенке лягу. А ты стульчик подставь, чтоб не упасть.

Они впервые были столь близки, робко трогали друг друга, целовали такие места, до которых никогда раньше не добирались. Ваня чувствовал, что под халатиком ничего больше нет, рука скользнула между пуговичек, и тугое девичье тело встрепенулось от неожиданности.

– Ванюша, ты правда меня любишь?

– Нина, ну, ты же видишь. Нина, милая... – Он коснулся замка своих брюк, но она перехватила руку.

– Ванюша, любимый, не надо. Я буду тебя ждать. Я очень буду скучать по тебе и ждать.

Полежи, успокойся, скоро светать начнет, а в шесть машина в военкомат.

Шестаков помнит, что сразу уснул и очнулся только от поцелуя:

– Ванюша, пора.

Он вскочил. Нина неловко лежала.

– Ты не будешь вставать?

– Ваня, я не могу, ты спал на моем плече.

Иван встал перед кроватью на колени и стал осторожно разминать плечо, руку, без стеснения касаясь истока груди, Нина со слезами на глазах смотрела ему в лицо.

– Ванюша, я тебя никогда не забуду.

– Ладно, клятвы закончились, я побежал собираться, а ты подходи к машине.

– Нет, я буду в сторонке, не хочу разговоров.

Из кузова грузовика, занаряженного отвезти в военкомат пятерых призывников, Иван не видел никого, кроме Нины. Она улыбалась ему и легонько махала рукой.

В тот же вечер на Ишимский сборный пункт подали военный эшелон, идущий с востока. Сотню парней построили перед составом и дали команду размещаться. Уже через полчаса на столиках горой лежала домашняя еда и ножики соскабливали водочные пробки. Иван лежал на верхней полке, вагон раскачивало, и он проваливался в сон, выныривая после громких выкриков подвыпивших ребят на нижних полках.

– А последний раз мне здорово повезло. Еду я на отцовском мотоцикле от тетки, смотрю, девица идет. Я остановился, приглашаю, она ни в какую. Глушу мотор. А девка – красавица, и тут и там – все при ней. Ноги, ребята, доложу я вам, как точеные. Присели, разговоры, идет с отделения в совхоз, бухгалтером там работает. Я посмейся, за талию, пониже – ничего, ну, тогда и понеслась.

– Врешь ты все.

– Да мне шибко надо! Нинкой ее зовут. Я хотел в гости завалиться, да мне подсказали ребята, что ее ффраер в начальниках ходит, лучше не связываться.

Иван плохо помнил, что было дальше. Потом рассказали ребята, что спрыгнул с полки спокойно, без приглашения налил стакан водки, выпил, губы вытер и спросил:

– Говоришь, Ниной ее звали? А фамилию ты не спрашивал, точно, кто в таких случаях интересуется фамилией? А в какую деревню она ходила, не вспомнишь? В Травную? Когда это было? В августе? Так вот, я тот ффраер и есть.

Говорили, что два раза успел ударить, челюсть сломал и скулу своротил. Того в Свердловске сняли в госпиталь, а Ваню начальник эшелона вызвал, допросил и посадил в отдельное купе как штрафника. Так до самого Арзамаса и ехал.

Писем Нине не писал, ее конверты не вскрывая, сжигал в мусорной урне, страшно страдал, пока на репетиции новогоднего представления не познакомился с девочкой Соней, которая оказалась дочерью начальника штаба, ученицей девятого класса. После первого же поцелуя подполковник вызвал в штаб и, поглаживая пистолет на столе, сказал спокойно, что дочка ему поведала о своей первой любви, но если солдат попытается переступить черту, он его застрелит. Просто и доходчиво. Так и целовались с Соней, пока она не уехала в Москву в университет.

Шестаков положил пленку в карман и утром пошел в салон. Долго за компьютером чистил снимок, снимая лишнее и оставляя признаки времени. Закончил поздно вечером, единственный оставшийся в ателье оператор отпечатал снимок третьего формата.

После открытия выставки Инесса—Анжела вбежала в кабинет директора, где мнительный Шестаков мучительно ждал первой реакции посетителей.

– Иван Иванович, вы, безусловно, великолепный мастер, но в фотографии «Моя любовь с больным пальчиком» откуда этот набор изобразительных средств: красота природы, простота обстановки, этот пальчик забинтованный, боковой и верхний свет. А чувства: она, безусловно, любит того, кто ее снимает, она чиста, свежа, прекрасна. Пойдите в зал, мастер, вся публика возле этой работы. Может, вы сможете ответить на вопросы?

– Простите, Инесса...

– Анжела.

– Конечно, Анжела. На старости лет начинаешь понимать, что настоящая фотография не может быть постановкой, она естественна, она есть жизнь. Вы напрасно говорили о наборе

средств, их нет. Снимок сделан влюбленным мальчиком простым аппаратом «ФЭД», они теперь только в музеях. Но была любовь. Больше ничего, так и скажите публике.

*2012 год*

## Как помирал Яков Васильич

Ленька был последним дезертиром в семье, так строгий отец обозвал его в последний вечер, когда посидели за столом и вышли покурить на крылечко. Августовская ночь дышала запахами скошенных хлебов и засахарившейся на корню смородины с малиной в большом неухоженном саду за домом. Ягоду собирали, и большими кастрюлями на временной печке под сарайчиком мать варила всякую всячину, но год удался на садовые кустарнички, и ягода сыпалась прямо на землю к великой досаде отца, Якова Васильича.

– Где—нибудь люди бедствуют без сладкого, мясо разоставить нечем, а тут все под ноги. Несправедливо мир устроен.

– Да вы уж перестроили было, да ничего не вышло, – ущипнул его кум Прокопий. – Под коммунизм-то все сроки уходят, а каждому по потребности нету.

Отец не обижался, у них с кумом давний спор, да и не спор вовсе, а повод поговорить по серьезному вопросу, отец с войны партийный, а кум ему в оппозиции, правда, только кухонной, зная, что тобольский конвой шуток не любит, разбирались дома и тихонько.

– Вот ты сам и ответил, почему не дошли до коммунизма. Ты же не сказал, что надо каждому до невозможности работать, чтобы достигнуть, а начал с потребности. И кто тебе чего припас, если ты сам пролежал?

– Где это я пролежал, интересно знать? – вяло возразил Прокопий. Три стопки самогонки расслабили его, он уж и не хотел связываться, да отступить неловко, подумает Яшка, что крыть нечем. – На работу хожу, как все, плотничаю. Чего еще надо? Сказали бы прорабу, как этот коммунизм строить, мы бы его за сезон смаздрячили.

Отец сухо сплюнул, он всегда так реагировал на чью-то глупость, повернулся к Леньке:

– Не передумал еще на производство ехать?

– Нет, батя, не передумал.

– Плохо тебе дома?

– Батя, ну чего ты опять?

– Ладно, будет об этом. Хлын ты, и дезертир, последний с фронта бежишь.

Ленька уехал в Тюмень, жил у товарища, работал на аккумуляторном заводе. После деревни было тошно, ненавидел очереди на остановках и толчею в автобусах, кругом все чужие, поздороваться не с кем. Платили хорошо, через полгода дали место в общежитии, вроде и в транспорте стало свободнее. Ленька писал домой письма и получал короткие записки от матери, что все нормально, только отец хмурый, «уж хоть бы загулял, а то и самогонку гнать перестал». Отца было жалко, Ленька вырос около него, летом с трактора не слазил, в кабине и спал в ночную смену. Когда подрос, стал подменять батю, бывало, смену и пропашет, а отец в это время дома работу сделает.

Два старших брата после школы тоже в тракторной бригаде работали, а из армии домой не вернулись. Один махнул на Север и сейчас роет траншеи под трубопроводы, второй подался в военное училище и служит как-то странно, в письмах совсем ничего, только жив—здоров. Фотокарточку прислал, отец разобрать не мог, толи он в форме, толи в нижнем белье, погон нет, значков нет, не воин, а бич после выпрезвителя. Три года они не бывали дома, мать перестала плакать, отец тоже назвал хлыном и того, и другого, правда, заочно.

После смены Ленька, перепрыгивая через тонкие лужицы на асфальте, зашел в пивнушку. Пиво тут было получше, чем в других местах, может, потому что молодая девчонка торговала, не научилась еще жидким чаем разводить или пенной шапкой прикрывать недолив. Она три кружки, как положено, пускала по кругу, одну отгаливая клиенту, вторую доливая, а третья ждала своей очереди, опадала пена, потом на долив. Такого Ленька и ребята больше нигде не встречали, хотя знакомый по пивной Виссарионыч кивал, мол правильно делает, так

и положено. Виссарионычем он не был, это прозвище дали за усы, как у Сталина. Такое впечатление, что он не выходит из пивной, разу не помнит Ленька, чтобы Виссарионыч отсутствовал.

Ленька взял пару кружек и поискал место за стойкой. Виссарионыч перехватил взгляд, кивнул, Ленька прошел к нему.

– У меня вобла есть, примыкай, – густо сказал Виссарионыч. – Любишь с воблой?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.